

А. ВИНКАЛЬ

ANGST

тематическая диалогия

16+

А. Винкаль

Angst

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67281447

SelfPub; 2022

Аннотация

Angst (в переводе с датского) – это «головокружительный» страх, тревога. Angst – это сознание риска потерять контроль. Angst – это водопад, обрушивающийся каскадами в небытие. Диалогия Артёма Винкаля, освещающая темы чувственности, свободы и смерти.

Содержание

Дневниковые записи

5

Воспоминания Тана

18

А. Винкаль

Angst

Angst (дат.) – «головокружительный» страх, беспокойство, тревога.

Дневниковые записи

15. 12

Возникла мысль, навязчивая, не отпускающая. Какая-то дикая прихоть. И нет, не столько это чрезмерное возбуждение, сколько осознание того, что нечто может быть познаваемо исключительно на чувственном, переживаемом своим телом опыте. Идея, заключенная в жизни, – дикая, необузданная, живая и динамичная... Мурашки по коже. Это весьма откровенно. Настолько, что хочется зарыться с головой под подушку и никого не слышать, не видеть.

16. 12

За окном барабанит дождь. Мерно и очень тихо. Капля за каплей он отбивает сердечный ритм – он с сердцем заодно. Капля – удар, ещё удар – капля; они отмеряют мне жизнь. Удар – и я жив, всё ещё здесь, но где здесь? Да вот где-то рядом, где-то внутри и снаружи одновременно. Где-то в движении кисти руки, жадно обхватившей длинными пальцами-щупальцами шариковую ручку. Синими чернилами ручка выписывает букву «р». Нет, подождите, сначала она выписывает точку: она её ставит, даже как бы утверждает её – вот, мол, точка, это единица твоего слова, а значит, единица твоей мысли, твоего чувства, жизни... – страшно далее про-

должать эту цепочку, ведь в конце неё покоится неизвестность. Итак, точка. За точкой ещё одна точка, затем линия. Поймите! Линия – это то, что объединило точки, она не является единицей, скорее неким итогом всего этого «много-точия». Так отбросим в сторону линию и сосредоточимся на точке. В этой точке – весь я, всё начало того, что будет сказано. Чтобы продолжить, мне следует присовокупить к первой точечке другую. Или другая – это начало чего-то иного? И как я вообще могу их различать? Вот я помыслил одно начало, одну единицу, одну точку. Значит, выделим это временное мгновение, возьмём, так сказать, в скобки. Но вот передо мной снова точка. Она уже будто бы несколько другая. Возьмём за начало и её. Что вышло? Единица и единица. Раз. Раз. Гм, этак мы и не начнём, пожалуй, никогда, если застрянем в исходном моменте. Однако как же совокупить эти две единицы? Одна единица – это я, я её помыслил. Значит, раз. Вот ещё одна единица... Фу ты чёрт! Не ещё одна, а просто одна единица – и это я. Я в один временной промежуток, и я в другой временной промежуток. Но откуда я взял этот другой промежуток? Вернее, откуда взялся тот один промежуток, когда уж вот я в другом. И всё-таки точка за точкой – и вот я мыслю за единицу «р». «Р» – далеко не только точка, единица моей идеи, но уже и буква. То есть сверх первого смысла она наделяется чем-то большим. Это – я, собранный из промежутков в настоящем. Это уже больше похоже на меня, на мою мысль. Дальше – больше: слово.

«Ритм». Возможно ли такое? Мне не даёт покоя: что же всё-таки произошло там, где две отличные единицы стали чем-то большим, чем-то целым?

17. 12

Мы встретились с ней около полудня неподалёку от набережной и спешно проследовали к невысокому кирпичному домику. За прошедшие дни я до такой степени измотал себе нервы, что уже не мог воспринимать её как девушку: что-то однородное, невысокое и улыбчивое маячило у меня перед глазами. И всё же сила бурлила во мне, страсть вскипала, ближе и ближе подступая к горлу так, что перехватывало дыхание, и я подолгу не мог избавиться от сдавливающего ощущения, еле сглатывая застрявшие в области кадыка крупные комья.

Прежде чем мы оказались в квартире, я успел раз десять окинуть её взглядом: о, великолепные круглые груди, стройное крепкое женское тело. От неё пахло женщиной. Пахло низостью, привлекающей мою жалкую ослабшую душонку. Она заливалась смехом, она мигала своими черными глазами, говорила много и удивительно, впечатляла своей интуицией и проницательностью. Но всё вздор: ни капли возвышенности не имелось в моих чувствах. Я хотел, я пульсировал и жил ею, не в силах произнести потаённое «хочу». Хочу. Во мне что-то бьётся – сердце? Может, ритм жизни? Ритм бешеных точек, что стали целым; точек, что были од-

ним, а стали «одним да одним», что значит «целым». Всё целое – едино. И как бы пристально, под микроскопом, я не наблюдал за своими мыслями, мечтами, идеями, всё же глубже всего – вожделение. «Хо», – выдыхаю я нежно; «чу», – должно следовать за этим, но следует почему-то пауза, и желание моё теряется в моменте, ускользает в какую-то иную единицу измерения, невоплощённое и сокрытое. Я не «чу», я лишь «хо». Я даже больше «х», чем «хо», иначе бы я был уже в ней, потому как за «хо» последует и «ч», и «у», и новая, новая единица блаженства и жизни.

Жизнь: зрачок реагирует на свет, веко приподымается, чёрный кружок сужается в размерах. Я вздрагиваю. Неряшливо метнув к стенке чёрную кожаную сумочку, за кухонный столик справа от меня присаживается она. Как она прелестна! Прелестна настолько, что жизнь начинает пульсировать под самой кожей, задевая нервные окончания, возбуждая и услаждая душу. Как? Как может быть жизнь? Как может быть жи-з-нь. Как мо-жет б-ы-т-ь. Ж-и-з-н-ь. "Нь" – «н» смягчается; мой язык, упругий, пропитанный живительной влагой, упирается в небо и отрывается с отзвуком: "нь"! Сухость, пустота превращаются в созерцание. Я имею в себе начало, конец и продолжение. Я имею слитое воедино, в мгновение, в точку; точка – корень бытия. Она плодится, как плодятся клетки, как плодится человек, хоть это и несравнимые по величине вещи, имеющие в себе столь разные основания. Всё в одном, и всё во всём – такая вот философия абсурда. И

я теряюсь в этом всём и собираюсь в себе, стоит мне только сосредоточить свое внимание вовнутрь.

Она смотрит на меня пристально, разглядывает: «Хочешь ли ты что-то сказать?» Я тупоумно пялюсь на её руки, та-ращу глаза – они покраснели от сухости моего одиночества, они также требуют влаги, орошения и восполнения своей силы видеть – делаю непонимающий кивок головой, отирая со свитера прилипшую грязь: о, да, в этой пылинке сейчас заключена моя жизнь, увлекусь ею, превращусь в неё, развеюсь и исчезну. Но я всё ещё здесь. Молчание, спровоцировавшее тишину, оглушает меня. «Скажи ей, скажи: хо-чу. Да скажи уже, чёрт подери!» Я безмолвен. Губы сомкнуты: очерствели, засохли. Отцвели. Как же я, моя дорогая, объясню тебе своё желание. Ведь я читаю в твоих глазах насмешку. Или сомнение? Господи, я не понимаю тебя, а вот ты, похоже, читаешь меня насквозь.

Звонит телефон, и чей-то безучастный голос сообщает о приезде. Она бросает на прощание: «Будь осторожнее». А я плачу внутренне от злобы и бессилия; я жил каждый миг, каждую секунду волнением чувства. Кто виноват: недостаточная страсть или чрезмерная сдержанность? Я кидаюсь ей на плечи, кротко прощаюсь. Никогда, никогда я не любил её, зато как хотел! И ни одна она такая была. Ни одна такая есть. Но сейчас – она, образ чувственности, и мне хочется знать её. Не её саму, но её сокровенную страсть жизни, что волну-ет всякий раз моё живое существо.

Было давно за полночь, когда я возвращался домой. Голова моя тяжелела с каждым новым шагом. Стены, гостиная, мебель – всё плыло перед глазами, и я зажмурился, но вместо черноты видел перед собой лиловые пятна, мутные, дымчатые. Где-то за пеленой этой дымки скрывалось её лицо. Ни следа робкой стыдливости, ни тени скромности. Каждая черта этого лица была столь растушёвана, что трудно разобрать того, что скрывалось за ней: пожалуй, сильная воля к жизни, изредка выступающая темными проталинами из-под слоя напускного жеманства. Но что произойдёт, когда воля эта иссякнет? Не в ней иссякнет, а во мне, ведь и во мне она есть, и в каждом без исключения.

Моё тело во всю длину растягивается на стоящем в коридоре диванчике, и я впадаю в легкую задумчивость; мысли роятся в возбуждённом сознании. В любую единицу времени я могу перестать быть. Мне нисколько не страшно от осознания этого факта. Мне страшно оттого, что я не пережил жизни. Я заткнул её за пояс, эту жизнь. Я решил, что остаюсь точкой, скупой, малюсенькой единичкой, не больше.

21. 12

Ей приходился по вкусу исключительно горячий травяной чай – к её приезду, буквально за полчаса, мне удалось сбегать в ближайший продуктовый магазин и купить там пару коробочек, – кофе, какао она не пила вовсе. Мы сидели неподвижно, совсем одни в четырех обшарпанных сте-

нах, что вот-вот должны были наполниться криками негодования. Детским бессмысленным взглядом она тарасилась на меня, теребя пальцами рук какую-то нитку, вырванную из шерстяного покрывала. Мы разговаривали, а именно: порыв претворяли в звук, звук обращали в форму, в форму буквенную – выходила буква, например, «с», – буквы слагали в слова, из слов, как известно, составляли предложения. Всё, как и прежде, текло, преобращалось, возникало, а за тем следовали отсутствие и неизвестность.

– Чтобы выйти из положения, – говорила она, обращаясь как бы вовсе и не ко мне, а куда-то в пустоту комнаты, – я уже подумывала вовсе покинуть этот мир, причём доводы к тому были подобраны великолепные, без тени сомнения. Проработала план – было бы слегка банально, зато безболезненно. Написала всем родным и знакомым письма – вышло очень солидно, из тех, кого вспомнила, получилось около сотни конвертов, уже не помню точную цифру. Одной только матери вышло страницы четыре. Пришлось в итоге всё сжечь. Если честно, я сейчас в одном шаге. Просто из-за усталости, даже не от отчаяния. Не знаю, что меня останавливает...

Разногласия в семье подталкивали её к безрассудным поступкам. Ей страстно хотелось познать состояние отсутствия, а иной раз она боялась его сильнее всего прочего.

– Страх смерти, – отвечал я. – Непонимаемое, непереживаемое, внечувственное, внеопытное завораживает и пугает. Вот твой истинный страх. Вот то, что тебе действительно

не дано понять. Знать – знание возможно, но понимание – отнюдь нет. Тебе нужен извечный контроль над моментом. Прогнозирование и ретроспектива – всего лишь аспекты человеческого мышления, не более. Всякое живое существует отдельно взятым мгновением, оно в нем, в этом "раз", в этом "два", – я указал на стенные, громко тикающие в пустой комнате часы. – Однако сознание риска потерять контроль приводит к непомерному ужасу. В человеке это сознание разрослось до исполинских размеров, мучительно переполняет извилины нашего слабенького мозга.

– Но как же... Как же я могу тогда желать этой смерти? Из чего возникает такой странный парадокс?

– Знание, но не понимание. Ты не понимаешь смерти, помышляешь её исключительно в рамках логики и строгого рассудочного анализа. Так, например, ты считаешь, что в своем молодом возрасте уже сумела исчерпать людей: тебе ясны их типы, характеры, эмоции, – какое заблуждение!

– Мы говорили о смерти.

– Мы говорим о твоём скепсисе в отношении всего. Твоё чванство, безосновательная напыщенность... Как ты можешь так легко судить о том, чего никогда не чувствовала, не переживала?

Её лицо искривилось в самодовольной ухмылке. Она помолчала, пристально сощурилась.

– Вот как ты заговорил. Знай же: сегодня я в последний раз у тебя. Это последний раз, когда я смогла заставить себя

прийти. Ты обижаешь меня, оскорбляешь беспричинно. О чём ты вообще думаешь, приглашая меня к себе из раза в раз? Мало того, каждая новая встреча обязательно в новом месте. К чему это, скажи?

Я зачем-то огляделся. Это была квартира моей матери. Тесная, двухкомнатная, но ранее обжитая и никем не занимаемая ныне квартира, окнами выходящая с одной стороны на проезжую часть, откуда круглосуточно доносился рокот машин, с другой – на глухой двор, образованный цепью жилых домов. Место сильно отличалось от того, где мы были несколько дней тому назад.

– Я ожидала поддержки, может, любви, – она энергично жестикулировала руками. – Как бы не так. Своими разговорами ты нагоняешь тоску, пытаешь меня испепеляющим взглядом, ожидающим... чего? К чему ты ведёшь? За последние дни окончательно перестала тебя понимать. Я не намереваюсь выслушивать нравоучения. Такой ход событий меня не устраивает. Я попросту устала от тебя.

– Чего ты хочешь?

– Распрощаться. Надеюсь, навсегда.

По коже пробегает озноб. «Распрощаться!» Нет, нет, не так скоро. Отбросим всё, что у меня на уме, перестанем томиться безумным чувством и будем просто любить, сию секунду, прямо сейчас – обман, какой обман, ведь мне этого не нужно. Мои порывы, страсть, идеи – пожалуйста, возьми, дорогая. А любви своей я не растрчиваю, не могу, увы.

И я обманываю себя, внушаю, что готов единственно с ней быть, наблюдать её голос, осанку, слова, но нет. Даже смех берёт: сушая клоунада, не более. «Распрощаться!» Я сдерживаю норовящие обнаружить себя слёзы; некому передать того, что было мною услышано. И ужас вовсе не в словах её – ужас в моём безвыходном положении, положении узника. Я сковал себя гнусной, переросшей в нескончаемую тошнотворную тревогу мыслью, а теперь попросту не могу её осуществить, не могу покончить с делом, с которым произвольным образом связал себя психологически, эмоционально. Но лишние кандалы мне ни к чему, а значит, дело пора кончать – мои скрюченные неумелые пальцы касаются её талии. Я обнимаю её, ласкаю губами тонкую женскую шею, затем порывистым движением обнажаю грудь: запах пота, смешанный с ароматом парфюма, будоражит моё распалённое сознание, горячит кровь. Дыхание сбивчиво, с перерывами, и темп нарастает. Женская кожа розовеет: мне необходимо быть под этой кожей, растворить себя под ней...

А когда подходит конец, необходимость отпадает. Теперь я в конце своего конца, но вдруг – вновь здесь, в прежней точке. Невероятно. А что осталось там? Начало меня? Начало ли? Или только некий возможный потенциал, еще не реализованный? Вот он, пик, где раскрываются все карты жизни, все карты происхождения. В этой единице заключена страсть, рождающая новую жизнь, новую единицу. Наслаждение помогает забыться, но возвращение к себе

неизбежно; я удосужился довести себя до воспаления. Вдруг мой слух улавливает скрип кровати, и, обернувшись, я успеваю заметить мелькнувшее за закрывшейся дверью худенькое тельце, облечённое в мою намокшую от пота рубашку.

– Куда ты?

– Ухожу, – слышится из-за двери. – Как и обещала. Я дождалась от тебя искренности. Жаль, что поздно. Прощай.

Пuls замирает в грудной клетке и вдруг с сокрушительной силой обрушивается на бедную голову, раскалывая её на части.

22. 12

Полный сытый желудок. Под ребрами гулко урчит. Я сглатываю комок воздуха и мерно отрыгиваю его с малозаметным для окружающих рыком. Мои глаза ползают по залу кафетерия, словно паучок в поисках добычи по всеохватывающей паутинке. Паутина так велика, паучок так голоден, так беспощаден: где же долгожданная пожива? Звучная отрыжка вновь вырывается из-под моих губ – но головы неподвижны, а значит, я все еще в тени, все еще в укрытии, откуда готовлюсь выпрыгнуть в любую подходящую минуту. Вздрагиваю. Проследовав за светловолосым парнем, за столик неподалеку от меня садится парочка прелестных девушек. Как они прелестны! Прелестны настолько, что жизнь начинает пульсировать под самой кожей, задевая нервные окончания, возбуждая и улаживая душу. Как? Как может быть жизнь? Как

мо-жет быть жи-з-нь. Как мо-жет б-ы-т-ь. Ж-и-з-н-ь. Я хо-чу, я жажду ощущать эту жизнь каждым концом своего тела, каждой частицей души во всякий отдельно взятый промежуток времени.

Жажда – единственное, что заставляет меня оставаться в этой паршивой забегаловке и наблюдать, покуда естественные позывы не вынудят меня подняться с места и, покинув зал, с остервенением удалиться в уборную со словами: "Какая досада: отныне я вынужден любоваться чужой жизнью". Ноги несут меня навстречу удушливой сортирной вони. Трое подростков, пластиковая дверь, умывальник. Я подхожу к зеркалу, всматриваюсь в своё отражение. "Всё тлен, вся духовность мира – самообман. В силах человека объяснить всё, и как прежде мы не видели очевидных вещей, так в будущем познаем нечто, дающее энергию малой точке таким образом, что она становится жизнью, той самой жизнью, которую мы чуем и понимаем", – говорю про себя и внезапно отшатываюсь от зеркала назад, на мгновение помутившись рассудком: иначе это и не назовёшь. "Я могу не быть!" – бьёт тяжелым молотом мне по мозгам, и в следующий миг я пропадаю. Ни следа, ни отпечатка, ровным счетом ничего. Как не было меня до рождения, как не будет меня после смерти, так не было меня и вчера, и даже сегодня. А сейчас? – очнувшись, я щупаю себя; пальцы хватаются за лицо, за кожу, – больно! – крик сверлится изо рта. Какой вздор, я обманулся дважды. Пара крепких ребят держит меня на руках, пока я

прихожу в чувство, после чего мне приходится извиняться перед ними и сердечно благодарить.

Воспоминания Тана

I

Сгорбленный Тан небрежно ворочал руками чуть ниже пояса в надежде возбудить себя, но мысли, занятые головной болью, не позволяли этого сделать. Тогда ему вспомнилась Эра.

Великолепные бедра ее часто виляли перед глазами Тана, когда в выходной день он встречался с ней. Эра убеждала его расстегивать потрепанные брюки, которые у него была привычка натягивать по случаю и без, и предаваться рукам до того момента, пока сама не входила во вкус. В первые недели знакомства Тана несколько напрягали ее странные фантазии, но он смирился, увидев однажды блаженную улыбку на женском лице. «Она довольна», – подумал тогда молодой человек и забылся прямиком на ее выходное платье. Подобное случалось с ним редко – забываться он практически не умел, вернее сказать, не позволял себе. Хотел, да не позволял. Эра тоже забывалась нечасто. Она любила назидать Тану о трудностях женских природных процессов, жаловалась на неправильное устройство тела. Тан же считал, что неправильно вообще иметь тело, тем более если довелось быть женщиной. «У моих детей не будет тела. Никогда, запомни, дорогая, – говорил он ей, и в такие минуты девушка до ужаса пугалась

его. – Тело болеет, – продолжал Тан, расхаживая с обвисшим продолговатым предметом по комнате. – Тело – враг. Из-за тела умираю я, а Я не хочет умирать, понимаешь?» Он начал сильно щипать себя за подмышки, с ненавистью бил по ребрам, по груди, замахивался на пах – и Эра перехватывала его инициативу на себя. Тогда он бил Эру. Она кричала, а он бил ее женскую фигуру.

Глотая по ночам таблетки и капли горьких микстур, Тан любил называть себя ребенком, ненасытно жаждущим окончания тела. На вопросительный взгляд Эры он отвечал спокойно: «Дети неконтролируемо хотят сладкого, потому что не знают меры пресыщения собственного тела. Они хотят свести вожделение на нет, тем самым уродуя и медленно уничтожая себя. Таким нужны родители. Мне нужен родитель», – по щекам его текли слезы, он кидался на шею любимой, умоляя остановить его. Эра растерянно тарасилась в темноту кухни и уходила, а он оставался наедине с собой и телом. «Кому ты такая нужна! Безжалостная, нерадивая душа», – после очередной бессонной ночи выдавал Тан своей возлюбленной и снова беспорядочно избивал ее. Эра никак не могла свыкнуться с выходками Тана. Она все пыталась приласкать его, в порыве бешенства заносящего над ней руку, целовала в больной от несварения живот и, падая на колени, крепко прижималась к его бедрам. Получая от него очередную порцию ненависти, она сама вставала на дыбы, как бы оживая после вспышки насилия, и раздражалась ди-

ким криком. «Это все от недостатка сна», – твердил ей в ответ насупившийся Тан. Трясаясь и содрогаясь, он удалялся в комнату, где уже засыпал и иной раз забывался во сне.

Разрядка не приносила ему ровным счетом никакого удовольствия, занимался этим Тан механически. Однажды введенная привычка не позволяла ему бросить. Порой, вспоминая об Эре, ему даже не хватало сил возбудиться. Монотонными движениями он кое-как растирал обмякшие мышцы – результат не оправдывал себя. Казалось, все в его жизни стало таким же однообразным, как и стимуляция половых органов. Тан часто глядел на часовые стрелки, перед тем как лечь спать, чтобы высчитать поутру время, проведенное организмом во сне. Он до жути боялся неудовлетворенности тела. Взглядом он концентрировался на стрелке часов, затем снова и снова, пока в глазах не начинало рябить. Он готов был выколоть себе глазные яблоки, лишь бы не видеть эту упрямую стрелку, никак не поддающуюся его вниманию. У Тана кружилась голова, и вдруг в спальню входила Эра. Отпрянув, он кутался под одеяло и подолгу еще досадовал на свои злополучные глаза. Ночью кухонная комната вновь принимала его в свои объятия.

Эра... Она не жила с ним, но раз-другой в неделю оставалась на ночь. Не в одной постели, нет, – Тан терпеть не мог ограничений своей свободы, он считал губительными любые физические стеснения, даже самые малые. К тому же ближе к вечеру у него разыгрывалась жуткая мигрень, и он старал-

ся создать себе условия, при которых было бы возможно эту боль утолить. Болеутоляющим называл он свой распорядок ритуалов, не подпуская никого, кто мог хотя бы самую малость потревожить его перед отходом ко сну. С жалостью наблюдала Эра вечерние приготовления Тана. Перед сном он читал молитву – единственную укоренившуюся в его мозгу еще со времен глубокого детства, перенятую от матери.

К слову, о матери. О ней Тан порой тоже вспоминал: редкие, с налетом забвения и сладкой грусти, эпизоды прошлого возникали в час глухого отчаяния. Чаще это случалось ближе к утру, когда дом успокаивался после нервных ночных потрясений, Эра засыпала в соседней комнате, а Тан дотаскивал свое переполненное будущими отходами тело до спальни. Там он корчился от боли, цеплялся за стены, расцарапывая гладкое покрытие руками: одна полоса, еще одна – две; да три, да четыре. Воспоминания всплывали в сознании, он забывался, но теперь уже мысленно: вот он в гостиной на полу, мать в махровой накидке присела рядом с ним, нежно поглаживая по голове. «Мгновение! Всего мгновение! Но какое!..» – на лбу его показывались складки, руки, скребущие стену, тряслись от усталости и слабели. Он закрывал глаза, и вдруг ноющая боль в затылке вновь прорезалась сквозь дымку сладостных воспоминаний. В соседней комнате слышался топот ног. «Эра не спит. Не спит, но и не помогает мне. А я так устал от этих рук». Тан, испестрив стену до формы безукоризненно ровного квадрата, валился на пол, засыпал.

Он вспоминал не об Эре: та давно ушла в забвение. Остался уют, спасительное душевное тепло после нее в нем самом. Спасительное – второе по счету и, по-видимому, последнее после матери. И опять в воспоминаниях Тан возвратился к ней. Досада. Большим пальцем он помассировал висок, натянул нижнюю одежду и вышел из уборной.

II

Покидая уборную, Тан зацепился за ручку двери, больно ударившись костяшкой руки. На коже появился взбухающий бугорок крови. «Мерзость», – Тан ощутил пощипывание, вскоре сменившееся нестерпимой чесоткой. Со всего размаху он уперся крепко сжатым кулаком в стену. В туалетной кабинке кто-то громко ахнул. «Я не могу терпеть. Мне неприятно. Невозможно отстраниться от тела, когда только через него и живешь. А порой ты будто не в своей тарелке: где-то зудит, что-то саднит, отчего-то нарываяет кожица на кисти руки», – он поморщился и, выйдя в зал кафетерия, занял свое прежнее место.

Ровно год тому назад Тан сидел за этим же точно столом. Он чересчур явно тогда ощутил себя видящим и слышащим в толпе сторонних и непонимаемых им людей. Толпа! – раз стол, два стол, три стол – все стулья заняты. А что делать ему? Окружающие смотрят. А ему? Ему тоже смотреть? Это, видимо, связано с тем, что он видит. И видит-то он не как все: особенно смотрят его глаза, откуда-то из глубины него

смотрят и даже как бы и не смотрят, а рисуют ему картину. На мгновение Тан до ужаса перепугался необъяснимой тревоги, схватился было за нож, но взгляд его зацепился за милостивую девушку, входящую в это время в двери кафетерия. Дыхание перехватило еще сильнее, зато переменявшаяся обстановка позволила ему немного прийти в себя. Он постарался расслабиться, растекся по стульчику и стал внимательно наблюдать за ней. «Привлекает! И страшит», – как бы опомнился молодой человек. Светловолосая, с задраным кверху носиком, на высоких каблуках и туго затянутым в поясе платьем, она, к большому удивлению Тана, сама повернулась в его сторону и игриво подмигнула.

– Знаешь ли, что спасла ты меня тогда? – говорил он после Эре.

– Как же, как же? – улыбалась она, отлично понимая то, о чем хотел в очередной раз сказать ее возлюбленный.

– А так и спасла: я был в шаге от того, чтобы всадить в себя прибор – столовый нож, кажется, с закругленным концом такой – прямо между ребер. Тяжело мне дышалось, понимаешь, особенно тяжело, не как прежде, нестерпимо дышалось. Знаешь, как дышалось? Так... – он делал обрывающийся вдох и выдыхал, затем начинал ртом глубоко заглатывать в себя воздух – Эра смеялась, обнимала Тана и заливалась слезами. – Потеряю, вот-вот потеряю себя, – продолжал с надрывом шептать ей на ухо Тан, – потеряю, казалось. А нет, не потерял. Ты тому виновница или нет, не знаю.

Позже Тану стало казаться, что вовсе это не так, что Эра – жуткое ненастье, забравшееся в его жизнь ради терзаний. «Ты мучишь, мучишь меня! – кричал он по утрам в приступе гнева. – Видишь, как я растерян, по частям растерян – соберай не хочу. Но что делаешь ты? Хоть пальцем ко мне прикоснись, убереги мою целостность или раздави уж навсегда! Не ты, так я сделаю это: но к чему тогда ты мне? – замах, еще один. – Куда мне деться? Ведь я сейчас куда-то да денусь: не могу более терпеть свое. Свое!»

«Ты не бессилен перед лицом себя», – настаивала Эра, однако пальцем не трогала Тана.

Когда настали сумерки, он расплатился за ужин, встал и вышел продышаться на бульвар, хотя желания было мало. Лучше бы ему, конечно, так и сидеть в растерянности или, если уместно, в состоянии ступора – так и переживается все легче, и жизнь течет плавнее. Обстоятельства заставляют двигаться, вынуждают делать новые шаги, несносные человеку, ненавидящему ходьбу и любую затрату сил, изнуряющую организм, сводящую его на нет – Тан полагал, что и сам с этим прекрасно справляется, и внешнее вмешательство нежелательно. Он направился к набережной, взобрался на мост и стал оттуда глядеть на проплывающие туристические лодочки. Лодочки чудились крохотными, невзрачными, а фигурки людей на них еще меньше. Казалось, их, как насекомых, можно всех сейчас переловить руками, сжать в кулаках и разбросать по сторонам. «Редко я чувствую себя

большим и высоким», – подумал Тан.

Эра стеснялась Тана при других, лишь изредка появляясь с ним на людях. Обыкновенно бледный, загнанный мыслями в тупик, он оставался наедине с собой, когда девушка выходила к гостям: в своем доме, в чужом, в парке, в кафе или еще каких заведений – не имело разницы. Она прятала его у себя «за спиной», стыдясь болеющего, неудовлетворенного тела, словно Тан только им и был. Унизительно, пренебрегающе обращались с ним на высших ступенях человеческой коммуникации, и он отыгрывался тогда, когда Эра снисходила до него, возвратившись домой. Размазанная по стенке клякса из сухожилий, вен, набухших сосудов и капилляров раздражалась над ней чернильной грозой. Забрызгав живое, дышащее личико, клякса рассеивалась, и вот уж показывалось нечто человеческое на ее месте, хотя больше схожее с насекомообразным существом. Эра обмакивала свои пальцы в растекшуюся лужу, ласкала, касалась губами, сочувственно улыбаясь – тогда перед ней возрастал человек. Забота притворщицы. Перед очередным уходом Эры у стенки вновь возникал подтек.

Ночная сорочка ее отдавала особой женственностью – материнской. Смытый макияж, чистое и девственное лицо напоминали Тану его мать. Впервые, когда к нему пришло осознание этой стороны его привязанности к Эре, он пришел в оцепенение от мысли, что способен в посторонней, желанной женщине любить собственную мать. Тан прижимался,

забывался сладким запахом тела Эры, к вечеру становившегося необыкновенно нежным, ласковым. И сколько же в этой нежности было нравного, свободного, способного успокоить сильное болезненное переживание человека, на следующее утро, увы, сменяющееся черствым тоном осуждения. Тонем, приводящим в иступленное смятение Тана. Его разум всячески старался перебороть это смятение, замять и скрасить напряжение. Каждый день Тан ласкался к любимой и каждый день в беспомощности прикладывал к ней силу. Выходит, силу он черпал откуда-то изнутри, из какой-то такой точки, которой вовсе и не существовало в его человеческой натуре.

Излишне тесный телесный контакт стал удерживать Эру при Тане. Она никак не хотела прийти к той мысли, что ее, высокую и сильную, влечет насилие над собственным телом. Тану вспомнился ее ночной рассказ. «Я повредила руку, – шептала Эра ему на ухо, когда тот укладывался в постель, и, задрав рукав, показывала порез. – Представляешь, это не ты, я сама. А зачем? Тан, послушай, а вдруг... а что, если я хочу...» Тан слабо улыбался и обнажал свою талию, где не было ни единого живого места. Эру бросало в жар, она глотала воздух и, отшатнувшись, выбегала из комнаты...

III

В поздний вечер набережная пустовала. Тан спустился к бульвару. Он нашупал в правом кармане своих вельвето-

вых штанов затерявшуюся сигарету: достал, порассматривал, окликнул одинокого прохожего. В желудке продолжал урчать ужин. Сигарета задымилась – Тан, поднеся замерзшие пальцы рук ко рту, глубоко затянулся дымом, затем еще и еще, сглатывая и не выпуская его наружу своего тела. Голова загудела. Где-то ниже бедер мышцы стали слабеть (сказался недавний прием таблеток), и он еле удержался на ногах – пища попросила вернуть себя на место. Сутулая спина его подогнулась, он, минуя набережную, бульвары, метнулся в какой-нибудь глухой закоулок, где бы его никто не смог застать за пренеприятным занятием очищения. Улицы, словно нарочно, разродились вдруг толпами людей, повывлезших из домов. Слабенькая фигура Тана затряслась, забилась к стене кирпичного здания, не найдя себя приюта, и грубо опрокинулась на землю. Горло его закипело переваренными остатками пищи, выбрасывая их один за другим на асфальт. Сознание подернулось слабой дымкой, через которую ему едва удалось ощутить чьи-то легкие, нежные прикосновения. Зловонием рта наружу он обернулся и нос к носу столкнулся с Эрой. Она, как и прежде, слушала тоску его грустными глазами. Слушала – не слышала.

– Зачем ты тут? – Тана обуял страх. Снова он видел страдание, не мог наглядеться на него, впитывая его через кожу нетрезвым сознанием. – Мне нельзя, нельзя, я сам!

– Ты сам, – отвечало жалостливое выражение лица девушки. – Я здесь случайно, меня ждут, я скоро уйду.

Прохожие не останавливались, метались толпой из одной половины улицы в другую, как вихрь в морозную погоду. Кажалось, это они зарывались внутрь Тана, а затем выметались из него болезненными хрипами, растекаясь по земле и перелюлкам грязной лужей. Легкие стонали, останавливались, не хотели, не впускали воздух.

Постепенно голова стала проясняться. Отираясь поданным платком, Тан поднялся с колен.

– Все так же не любишь тело? – с ноткой сухого сожаления прозвучал ее голос.

– Не могу.

– И мое никогда не мог. Не позволял себе.

Слова Эры больно защемили в груди; нарядно одетая, с подкрашенными темной тушью веками, с завитыми каштановыми кудрями, чистая, аккуратная Эра не желала даже коснуться губами попачканного собственными отходами Тана.

– Но разве ты не то же обличие, что и я?

Она отрицательно качала головой:

– Ты наедине с собой неизменно.

Неизменно он живет телом и через тело. Даже неясно, есть ли это тело у него или данные кем-то свыше ощущения входят в его Я поэтапно, естественным непосредственным образом, с каждым новым мгновением. Он же чувствует, как с каждым годом взросления ему становится все теснее и удушающе тошно жить, и одно лишь возрастающее со-

знание, помогающее претерпеть дискомфорт, позволяет верить и уповать на освобождение.

Мерзок был для него период раннего пубертата, воспоминание о нем: когда ему минуло двенадцать лет, мать по старой привычке продолжала укладывать его в постель, ласково обнимая и целуя низ живота. Каково же было его смятение в ту минуту, как она коснулась вместо маленького детского пупка чего-то неподатливого, затверделого и туго натянутого. Никто из них двоих не подал виду, однако прежняя невинность была покалечена. Через его вину, стыд перед матерью порочность как бы вошла в мир: мир покоя и родительского уюта. Тогда впервые он явственно понял свою телесность, свою чувственность, пережив предательство со стороны природы и последующее за ним чувство непомерного одиночества. «Ты наедине с собой неизменно», — с кем же ему еще быть, как не с собой. Вот он я, корчусь, изнемогаю. Я и есть развращение мира, но раз я таков, то уж точно в этом не повинен.

Тан уткнулся намокшим от начавшегося дождя лбом в стену:

– Как с этим, – он саданул себя в грудь, – можно жить?

Эра поцеловала его; через силу, отворачивая и зажимая пальцами нос, поцеловала. Материнским поцелуем.

– У нас могли бы быть дети, Эра. Иначе для чего еще с этим жить, как ни ради того, чтобы... продлевать себя.

– Мне страшно видеть ребенка, похожего на тебя.

– Но ведь я – это всего лишь я, но образ, который я ношу, обширнее, сильнее, и для того я обрекаюсь телом, дабы продолжать этот образ как можно чаще, как можно больше. Потому-то я и должен любить тебя. Только так существуешь, только так смерти нет.

Устало прикрывая лицо ладонью, Эра уже не смотрела на него, а упиралась взглядом в стены домов. Она уносилась мыслями туда, где ее ждали.

– А я и не люблю, представляешь, каково мне? – продолжал Тан. – Значит, я верю в смерть и боюсь. Знала бы, как боюсь! Останься, Эра, мы запечатлеем образ в тебе, и станет он на ноги, и оживет, взыграет. Без тебя я закончусь, с тобой – никогда.

– Тем временем я тороплюсь. Меня все еще ждут, Тан.

– А в чем такая особая полнота этого другого, ждущего тебя? Чего в нем такого больше, что с ним ты готова забываться и верить в жизнь, а со мной – нет? Молчишь.

IV

Он отыскал полуразвалившуюся лавочку в тени переулка, незаметную для городских приставов, и улегся на нее животом кверху. Ему виделось небо. Высокое, ночное, сверху донизу покрытое пеленой мерцающих звезд небо громоздко возвышалось над морем, по которому он плыл. Тан с усердием греб руками, расталкивая в стороны окружавший его морской сор, в виде водорослей, древесных палок, остатков

птичьего помета и прочего. Он ощущал на себе давление властного темнеющего небосвода и все устремлялся куда-то вдаль. Если бы мог – о, если бы мог – он бы воспарил над водой, растворился бы в воздушных потоках: став ветром, разогнал бы силой, расчистил бы морскую поверхность от сора. Но он не мог вознестись выше себя, а потому продолжал грести. Наконец показался край. Сложно обрисовать в словах то, что невозможно себе представить: перед Таном оказалось что-то вроде водопада, обрушивающегося каскадами в пустоту. Тан на мгновение содрогнулся; потоки воды срывались с кромки земного материка в *никуда*, с легкостью разлетались брызгами по ничем не заполненному пространству. Сорваться с этого края, сгнуться и почувствовать свободу и облегчение – вот высшая награда его пути. Но Тан испугался. Его вдруг одолело сильное головокружение, в глазах помутнело.

Когда он открыл их, над ним все также простиралось ночное небо. В течение нескольких минут Тан судорожно соображал, где находится, и лишь потом заметил, как вцепился пальцами в борта лавочки, на которой лежал. Он тяжело вздохнул. В груди что-то сдавливало, не позволяя со спокойной душой отпустить пережитое. Тан обнажил свою талию: «Через такую мелочность – и не быть?»

...Эру бросало в жар, она глотала воздух и, отшатнувшись, выбегала из комнаты. Она смеялась.